



*С. Георгиевская*

# СОЛДАТСКИЙ НОЖИК

ДЕТГИЗ - 1958

С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

# СОЛДАТСКИЙ НОЖИК



Государственное      Издательство  
Детской              Литературы  
**МИНИСТЕРСТВА      ПРОСВЕЩЕНИЯ      РСФСР**  
Москва              1958

*Дорогие ребята!*

*В этих небольших рассказах Сусанны Михайловны Георгиевской вы прочитаете о больших делах, о смелых, благородных людях. Наверно, как добрых друзей, вы запомните и отважную Галину маму, которая была связисткой в годы войны, и находчивого Ваню Иванова, и других героев этой книги.*

*Свои отзывы и пожелания шлите по адресу: Москва, Д-47, улица Горького, 43. Дом детской книги.*

**Для начальной школы**

**Георгиевская Сусанна Михайловна**

**СОЛДАТСКИЙ НОЖИК**

**Рассказы**

**Ответственный редактор** *О. И. Романченко.* **Художественный редактор**  
*Н. Г. Колобовская.* **Технический редактор** *С. К. Лушкова.* **Корректоры**  
*Э. Л. Лофенфельд и К. П. Тягельская.*

**Сдано в набор 30/IV 1958 г. Подписано к печати 4/VIII 1958 г. Формат 60X921/16-3 печ. л. (2,05 уч.-изд. л.). Тираж 500 000 экз. Цена 70 коп. Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.**

**Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 565.**



## ЛЮСЯ И ВАСИЛЁК

Раньше они жили втроем: мама, папа и Люся.

Потом началась война. Папа ушёл на фронт, а мама с Люсей остались вдвоём. Война в то время была близко-близко от Москвы. Часто прилетали немецкие самолёты, и тогда во дворе противно и громко выла сирена. Но Люся никогда её не видела и до конца войны не знала, какая она бывает, сирена.

Скоро маме с Люсей пришлось уехать из Москвы — эвакуироваться. Вагон, в который они попали, был без окон и скамеек, с большими раздвижными дверями. Мама и Люся сели в поезд утром, а уехали только вечером, когда стало уже темно. Поезд отошёл без гудка, без свистка — совсем не так, как уходил, когда они ехали на дачу. Его просто дёрнуло, качнуло, ещё раз качнуло и дёрнуло, и он пошёл, тяжело вздрагивая и скрипя колёсами.

В вагоне было много народу, плакали маленькие дети. А Люся не плакала. Мама приготовила ей постель в самом углу вагона, на полу, и села рядом. Люсю скоро укачало, и она крепко уснула, но и во сне держала маму за руку.

А на другой день случилось вот что: Люся в дороге потерялась.

Это было на станции, когда мама пошла куда-то доставать для неё молоко. Мама долго не возвращалась, и Люсе стало страшно, что поезд не дождётся и уйдёт без неё.

Люся спрыгнула на шпалы, ушибла коленку и, хромя, побежала искать маму. Но кругом было много-много народу, все торопились, толкались, шумели, и Люсю несло то в одну сторону, то в другую.

Один раз ей показалось, что впереди мелькнуло мамино серое пальто с поясом. Она с трудом пробилась туда, крикнула: «Мама!» — и ухватилась рукой за пояс. Но это была не мама, а незнакомая тётя в очках. Да и пальто у неё было не такое, а в клеточку.

— Что ты, девочка? — сказала незнакомая тётя. — Зачем ты бегаешь одна в толпе? Тебя же затопчут! Ступай в свой вагон.

— А я уже теперь не знаю, где наш вагон, — сказала Люся. — Я маму ищу.

— Ну, так стань у кипяильника. Пусть лучше мама тебя ищет, чем ты её!

Люся послушалась и стала у кипяильника. Стояла, стояла, а мама всё её не находила. Уже людей стало меньше — все разошлись по вагонам. Вот-вот поезд уйдёт.

— Мама! Уходит!.. — крикнула Люся.

Но тут надвинулся новый поезд с паровозом позади и заслонил тот, в котором они с мамой приехали.

Теперь уже всё пропало! Опять стало тесно, шумно, опять забегали люди, все незнакомые-незнакомые... Только мамы не было. Значит, никогда уже её не увидать больше, дорогую, родненькую, в сером пальтишке с пояском! И папы нет, а теперь и мамы не будет!

И вдруг Люся услышала, словно кто-то кричит: «Люся, Люся!» Это мама пробилась сквозь толпу,

схватила Люсю обеими руками и подняла её, как маленькую. Она не бранила её, а только говорила: «Девочка моя! Девочка моя!..»

Не спуская Люсю с рук, мама перебралась через площадку другого поезда, добежала до своего вагона — и тут они сразу поехали. Опять вместе, рядом. Теперь уже Люся никуда маму не отпустит одну.

И в самом деле, с тех пор мама с Люсей почти никогда не расставались...

Когда война ушла далеко от Москвы, они вместе вернулись домой. Обратно ехали в настоящем поезде, со скамейками, окнами и проводником в красивой форме с блестящими пуговицами.

Дома всё было цело, только пыльно. Они открыли дверь своим ключом. И Люся сразу нашла под диваном свой старый мячик, который закатился туда во время тревоги.

Вместе с мамой они прибрали комнату, вымыли окна, начистили дверные ручки.

Всё было очень хорошо, только мама была невестёлая какая-то, хоть и вернулась домой. Она разговаривала с Люсей, шутила с ней, но, когда отворачивалась, сразу становилась хмурой, будто у неё что-то болит или она сердится. Отчего это было, Люся узнала только через год, когда с войны вернулся сосед.

— Значит, и папа скоро приедет, — сказала Люся.

Мама искоса посмотрела на Люсю, потом молча села в кресло и взяла её на руки.

— А ты помнишь папу, Люсенька? — спросила она.

— Помню.

— Хорошо помнишь?

— Хорошо.

— А что ты помнишь?

— Помню, как он меня на ноге качал...

Мама улыбнулась сквозь слёзы:

— И больше ничего-ничего?

— Нет, я ещё помню, как он сидел вот тут, за столом, со своими книжками. Я чернильницу опрокинула, а он даже не рассердился, а только сказал: «Вот так история!» Он, наверно, весёлый, добрый... И он сильный. Правда, мама?

— Правда, — сказала мама. — Он был весёлый, добрый и сильный. И ты старайся быть такой же, каким был он, — сильной и доброй.

Мама вытерла слёзы, достала из ящика большую папину фотографию и повесила её над Люсиной кроваткой.

Так они и стали жить у себя дома, в Москве. Мама очень много работала, но ей не нужно было для этого уходить из дому. Она была художница — рисовала картинки для детских книжек и большие плакаты, которые вешают на улицах.

И Люся тоже рисовала. Не так, конечно, как мама, но всё-таки довольно красиво и похоже. У неё были карандаши, краски, кисточки и бумага.

Как-то вечером, когда она легла спать, мама разложила перед собой картонные квадратики и стала их разрисовывать.

— Ты что это там делаешь? — спросила Люся.

— Завтра увидишь, — сказала мама, — а сегодня уже ночь, спи.

Она подошла, поправила на Люсе одеяло, а Люся закрыла глаза и спросила шёпотом:

— Мама, а мама, мне тепло?

— Да, тебе очень-очень тепло, моя маленькая! — ответила мама. — Ну, повернись на бочок, и ты сразу заснёшь.

Засыпая, Люся всё время смотрела на маму. Мама осторожно водила по квадратикам остренькой кисточкой. Свет от электрической лампочки падал на её волосы; они светились, будто горели, и были такие тоненькие на лбу и на затылке.

Утром Люся проснулась и раньше всего спросила:

— Мама, а где же те картинки, которые ты раскрашивала для меня сегодня ночью?

— Для тебя? — удивилась мама.

— А для кого же? — сказала Люся. — Картинки для книжек ты рисуешь на ватмане, а на картоне — всегда для меня.

— А на этот раз для других, — ответила мама. — Для маленьких ребят из детского дома.

Квадратики сохли на подоконнике. На одном был нарисован очень толстый гриб, белый, с коричневой блестящей шляпкой. На другом — две крупные красные ягоды с лапчатым листиком — земляника. На третьем — колодец.

— Мама, а зачем ребятам из детского дома так много квадратиков?

— Совсем не много. Каждому по квадратику. Они прибьют их над вешалками, где пальтишки вешают, и по рисункам научатся узнавать, где чья пальтишко висит. Ведь они ещё маленькие, читать не умеют.

— А почему ты мне таких квадратиков для пальтишка не рисовала, когда я была неграмотная?

— Потому, что ты у меня одна, а их в детском доме много. Они могут свои пальтишки перепутать.

— Так пусть их мамы находят им пальтишки.

— У них нет мамы.

— Совсем никакой?

— Совсем никакой. Вот поэтому мы с тобой и будем о них заботиться. Хорошо, дочка?

— Хорошо, — сказала Люся и вытянула за колечко нижний ящик от маминого письменного стола. Там было всё Люсино богатство: краски, тетради, куриные пёрышки и тряпочки для куклиных платьев. Все тряпочки Люся собрала в одну кучу.

— Это ещё к чему? — удивилась мама.

— У них небось куклы неодетые ходят, — сказала Люся. — Кто же им лоскутки даст, если у них нет мамы?

Мама и Люся оделись. Сложили свои подарки. Мама положила квадратики в портфель, а Люся запихала тряпочки в корзинку, и они пошли в детский дом.

Улица, где стоял детский дом, называлась переулком. Она была тихая, узкая, а двор возле дома был широкий, и небо над ним было широкое: его не заслоняли ни крыши, ни дома.

Весь двор был залит солнышком. Снег уже совсем растаял, а в загородке лежал мокрый рыжий песок. В песке валялось чьё-то зелёное ведёрко.

Мама и Люся пересекли двор и поднялись вверх по намытым деревянным ступенькам. Лестница была светлая, на окошке висела белая занавеска, и всюду было так чисто и тихо, как бывает только летом на даче.

Маму и Люсю встретила наверху какая-то женщина в белом халате и шапочке, как у доктора. Люся сперва даже немножко испугалась её, но у женщины не было ложечки в руках и чёрной трубки в кармане. Женщине очень понравились квадратики, которые мама принесла для детей.

— Какие чудесные картинки! — сказала женщина в шапочке. — Было бы замечательно, если бы вы сами их отдали ребятам. Если у вас, конечно, есть время. Ребята сейчас обедают. Ну, а если торопитесь...

— Нет, нет, — сказала мама, — я не тороплюсь, я подожду.

Мама взяла Люсю за руку, и потихоньку, чтобы не мешать ребятам обедать, они подошли к двери той самой комнаты, где ребята сидели за столами.

Комната была большая, светлая. Пол блестел, точно каток.

Посередине комнаты стояли два низких-низких круглых стола — маме по колено, Люсе по пояс. А вокруг на совсем уж игрушечных стульчиках сидели ребята и обедали. Самых маленьких няни кормили с ложечки.

Ребята ели долго, искоса поглядывая на маму с Люсей. А Люся и мама стояли всё время у входа в комнату. Мама держала в руке портфель, а Люся — корзинку с цветными лоскутками.

Наконец-то ребята доели кисель. Тут бы и обеду конец, но какой-то мальчик в синем передничке поднял руку с растопыренными пальчиками.

— Чего тебе, Василёк? — спросила няня. — Прибавки хочешь?

Василёк ничего не ответил, и ему дали прибавку. Он съел всё, до последней ложечки, и опять поднял руку.

Люся потянула маму за рукав:

— Мама, а мама, смотри, какой жадный, опять прибавки просит...

Мама засмеялась.

Василёк оглянулся, посмотрел на маму и Люсю и тоже засмеялся.

Потом он бросил ложечку на пол, с трудом отодвинул стульчик и пошёл, ковыляя и перекатываясь на толстых, коротких ножках, прямо к двери, где стояла мама с Люсей.

Он шёл, задрав свою круглую голову, не спуская с мамы больших синих глаз. По дороге он спотыкался, едва не падал, — должно быть, ещё не научился как следует ходить.

Мама наклонилась и протянула к нему руки, а он подошёл к ней, обхватил её колени и сказал, переводя дух:

— Мумуля муя!

— Ах ты, милый мой! — сказала мама и взяла Василька на руки.

— Мумуля муя! — повторил Василёк ещё ясней.

У мамы на глазах показались слёзы. Она поцеловала Василька в круглый лобик и спросила ласково-ласково:

— Ну что тебе, сыночек? Что тебе, маленький мой?

Люся дёрнула маму за платье.

— Сейчас же поставь его на место, — сказала Люся, — а то увидишь, что будет!

Мама сразу же поставила Василька на пол, взяла Люсю за руку и повела её в коридор, в самый дальний угол.

— Что с тобой, Людмила? — спросила она строго.

— Домой хочу, — сказала Люся сквозь зубы.

— У тебя заболело что-нибудь?

— Ничего не заболело... А зачем ты этого чужого, жадного мальчишку на руки берёшь да ещё сыночком называешь? Он что тебе — сын?

— Ах, вот что! — сказала мама и покачала головой. — А по-моему, это не он жадный, а ты сама жадная... Ну, стой тут в углу, чёрствый ребёнок! Мне очень стыдно за тебя.

Мама вернулась к ребятам, а Люся стояла в углу коридора и плакала. Ей так хотелось, чтобы мама подошла к ней, погладила её по голове, сказала что-нибудь ласковое и пожалела бы, что поставила дочку в угол, да ещё в чужом доме... И вот наконец Люсино желание исполнилось. Мама вернулась к ней, провела рукой по её волосам и сказала:

— Ну, ты всё ещё плачешь, глупая моя девочка?.. Давай-ка пойдём вместе, покажем ребятам наши квадратики!

Люсе сразу стало легче.

Мама села на игрушечный стульчик у низенького стола, раскрыла портфель и стала вынимать квадратики один за другим. Достанет квадратик и передаст его Люсе, а уж Люся отдаст ребятам.

— Что это такое? — спрашивала мама.

Ребята узнали всё, что было нарисовано: ягоду, стол, гриб, ёлочку... Только колодец никто не мог узнать.

— Это колодец, — сказала мама.

— Лодец, — повторил Василёк и засмеялся.

Он стоял рядом и всё время держал Люсину маму за юбку.

— Он тебе мешает, мамочка? — спросила Люся.

— Нет, ничего, — ответила мама.

И вот они отдали ребятам все квадратики и пошли в раздевалку.

Ребята остались в большой комнате, и только этот толстый Василёк пошёл за мамой следом.

Оделись, собрались уходить. И тут мама заметила у Люси в руке корзинку с цветными тряпочками для кукол.

— Отчего же ты не отдала лоскутки ребятам? — спросила мама. — Сама же принесла!

— Сама принесла, сама и унесу, — ответила Люся шёпотом.

— Как хочешь, — сказала мама и опять нахмурилась.

Она попрощалась с женщиной, похожей на доктора, попрощалась с няней. Потом поцеловала мальчика и сказала: «До свиданья, Василёк».

Но Василёк только ухватился обеими руками за её шарф и смотрел на неё, сдвинув белые пушистые бровки.

— Прощайся с тётей, скажи ей «до свиданья», — говорила няня, разжимая его пальчики, но он сопел и перехватывал шарф повыше.

— Пусти! — сказала Люся. — Прицепился, как репейник!

Мальчик удивлённо посмотрел на неё и выпустил из рук шарф.

Мама и Люся вышли на жёлтую крутую лестницу и стали спускаться вниз по ступенькам. И вдруг за дверью раздался отчаянный, горький-прегорький плач:

— Мумуля муя! Мумуля муя!..

Мама на минутку остановилась и посмотрела наверх.

— Идём скорей, мамочка! Я так проголодалась, — сказала Люся.

Мама ничего не ответила, взяла её за руку, и они ушли.

Всю обратную дорогу мама молчала: не то сердилась на Люсю, не то думала про что-то своё.

Только и было интересного за всю дорогу, что зашли в магазин да купили вишнёвого варенья. Зато когда вернулись домой, всё стало совсем хорошо. Зажгли свет, накрыли стол и сели вдвоём пить чай с вареньем, будто этого Василька и на свете не было.

После чая Люся построила домик из разрисованных мамой кубиков, а мама взялась за свою работу. Всё было, как всегда.

И завтра, и послезавтра, и после-послезавтра всё было, как всегда. Работали, ходили вместе в кино. Один раз даже поехали на автобусе в Парк культуры и отдыха и посмотрелись там в «кривое зеркало». А про детский дом разговоров у них больше не было.

Но через неделю случилось вот что.

Мама вернулась домой с большим-большим пакетом.

— Что там такое? — спросила Люся.

— Не трогай, — сказала мама, — потом увидишь.

Но Люся не могла дождаться, когда будет «потом». Она потихоньку подошла к пакету и провертела сбоку дырочку. Внутри было что-то голубое, стёганое — наверно, одеяло.

— Это тебе или мне? — спросила Люся.

— Кому понадобится, — сказала мама.

Пока Люся смотрела сквозь дырочку на одеяло, мама открыла шкаф и стала разбирать Люсины вещи.

Переднички мама положила отдельно, а башмаки и курточку завернула в гляцевую бумагу и спрятала в портфель.

— Ты куда это хочешь нести мои полусапожки?

— Да ведь тебе они уже давно малы...

— А кому же они не малы?

Мама отложила портфель в сторону, села в кресло перед столом и взяла Люсю за обе руки:

— Люся, я должна тебе что-то сказать.

— Лучше не говори... Ну да ладно, скажи.

Мама покашляла и стала зачем-то медленно переплетать Люсины косички.

— Нехорошо, когда девочка растёт, как ты, совсем-совсем одна...

— Ладно, тогда я буду ходить к нашей соседке. Там есть ещё две девочки. Только ихний Сашка дерётся.

— Нет, — сказала мама, — я, Люся, не про то. Давай-ка мы возьмём к себе ещё одного ребёнка. У тебя теперь нет папы, и это большое горе. А есть такие дети, у которых после войны не осталось ни папы, ни мамы. Ты понимаешь, Люсенька, — никого-никого? Вот я и хочу взять такого ребёнка. Я ему буду мамой, а ты — старшей сестрой.

— Ой, — сказала Люся, — ты, кажется, опять про своего Василька!

— Да, про него, — ответила мама, — про нашего Василька. Я уже получила разрешение его усыновить, и скоро мы его возьмём к себе.

— К себе? Значит, он всегда будет жить у нас? И ты будешь его кормить, спать укладывать, игрушки ему делать?

— Да, — сказала мама.

— Значит, это для него ты одеяло покупала? Новое, голубое!

— Нет, для тебя, дочка! А ему мы отдадим твоё, маленькое. Ведь ты уже выросла.

— И сапожки мои ему отдашь и фартучки?

— Разве тебе их жалко?

— Нет, мне не жалко, а только я этого мальчика почему-то не люблю. Найдём другого!

— Когда же это ты успела его не полюбить?

— А вот когда ты меня в угол из-за него поставила. Раньше этого никогда не бывало!

— Не из-за него, а из-за тебя самой, — ответила мама. — Раньше ты так себя никогда не вела.

А через несколько дней мама с Люсей опять пошли в детский дом.

В детском доме их сразу же повели в комнату директора.

Комната была маленькая, белая, и в ней за столом сидела женщина в белом халате, которую Люся в прошлый раз приняла за доктора.

— Ну вот и хорошо, — сказала женщина. — Сердечно поздравляю, товарищ Морозова! Признаться, жалковато всё-таки отдавать. Дивный парень!.. Только начнёшь привязываться к ребёнку, вдруг какая-нибудь мамаша возьмёт его и усыновит.

— Право, мне не хотелось вас огорчать, Антонина Петровна, — сказала мама.

— Да что вы, что вы, голубушка! Я же шучу. Желаю вам вырастить хорошего сына.

В это время в комнату внесли аккуратно завёрнутый пакет.

— Это его приданое, — сказала директорша. — А вот и он сам!

Через порог осторожно, высоко подняв толстую ножку, переступил Василёк. На этот раз он был в новой голубой блузке и причёсан на косой пробор.

— Здравствуй, мой Василёк! — сказала мама.

Василёк протянул ей обе руки, как будто только её и ждал.

Мама посадила его на стул и стала одевать.

Няня помогала ей и приговаривала:

— Мал, конечно, а свой интерес небось понимает. Схлопотал себе в мамы такую приятную гражданочку!

Мама засмеялась, и директорша засмеялась, а Люся даже не улыбнулась. Она молча сидела на стуле и смотрела, как мама надевает на Василька её красные полусапожки.

— Ну что, нравится тебе твой братик? — спросила Люсю директорша.

— Ничего, — сказала Люся и отвернулась, чтобы не видеть, как мама надевает на Василька её синюю курточку с золотыми пуговками.

И вот надели на Василька пальтишко. Повязали

платочек, чтобы уши не продуло. Поверх платочка надели шапочку, как надевали Люсе, когда она была маленькой.

Потом стали прощаться. Все вышли провожать их на лестницу: директорша, няня, даже повариха. Машут им руками, кричат вслед:

— Будьте здоровы! Нас не забывайте, заходите с детками!

А повариха говорит:

— В воскресенье приходите. Такого наварю киселя для вашего Василя! Самого его любимого — вишнёвого!

Стали спускаться по лестнице — со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку... Трудно Васильку. Сам он толстый, и пальтецо на нём очень толстое. Мама взяла его на руки и снесла вниз. Вышли на улицу, на солнышко. Мама хотела спустить Василька на землю, а он ухватил её за шею обеими руками и только одно повторяет: «Мумуля муя!» да «Мумуля муя!»

Тут уж Люся не выдержала:

— Мамочка, дорогая! Отнесём его обратно, пока недалеко ушли! Ведь они же любят его как родного, отдавать даже не хотели. Так всё было хорошо... Ну, пусть он и сапожки мои берёт, и одеяло, что ты мне купила, и все мои игрушки. Только пусть он здесь останется. А, мама?

— Нет, — сказала мама, — он будет жить у нас.

— Ну, тогда я здесь останусь — в детском доме!

— Хорошо, — сказала мама, — оставайся. —

И пошла вперёд с Васильком.

Люся немного постояла у крыльца, а потом молча побрела за мамой.

Так они дошли до конца переулка. Тут мама, видно, устала или, может быть, ей сделалось жалко Люсю, только она спустила Василька на землю.

— Пойдёмте, дети, — сказала она и протянула Люсе свободную руку.

Но Люся притворилась, что не заметила мамину

руку, и засунула свои поглубже в муфточку. Так они и пошли: Люся — сама по себе сзади, а мама с Васильком вместе — впереди.

Перекатывается Василёк рядом с Люсиной мамой, переваливается в своём тёплом пальтишке, в красных полусапожках. На голове у него косыночка, чтобы в уши не надуло, сверху — тёплая шапочка.

И вот они дошли до перекрёстка, до большой улицы. По большой улице бегут машины, троллейбусы, трамваи, торопятся прохожие.

— Люся, где ты? Люся! — говорит мама.

— Тут, — отвечает Люся, а руку маме не подаёт.

Постояли они у самого светофора, подождали, пока зажётся зелёный свет.

— Переходите, дети, — говорит мама, — скорей, скорей!

А Люся и тут маме руку не подаёт. И вдруг повернулся к Люсе Василёк. Видно, испугался автобуса. Повернулся и протянул ей свою маленькую пухлую ручку. Тянет, тянет ручонку и смотрит Люсе прямо в глаза. А глаза у него, как пуговицы на мамином пальто, — такие же большие, только синие.

— Идёмте, идёмте, дети, — торопит мама.

И Люся, не подумавши, взяла Василька за руку. Она и не знала, что у него такая мягонькая, тёпленькая ручонка, с такими крохотными ноготками, лопаточкой.

— Уся! — говорит Василёк.

— Что? — спросила Люся.

А он смеётся и всё повторяет: «Уся, Уся!» — видно, доволен, что научился её называть.

Так они подошли к остановке трамвая — втроем. Ждать им пришлось долго. Народу собралось много.

— Подержи его, Люся, — сказала мама, — я деньги приготовлю.

Как только трамвай вышел из-за угла, люди засуетились, стали продвигаться вперёд, совсем



— Нет, — сказала мама, — он будет жить у нас.

затолкали Люсю и Василька. Люся невольно разжала руку.

— Василёк! — крикнула она, стараясь ухватить его снова за ручку.

Но Василька уже не было там, где он только что стоял.

Люся толкнула какого-то высокого дяденьку, заглянула через чей-то большой мешок. Нет Василька!.. Нигде нет! Потерялся! Ой, беда какая!..

...Она сразу вспомнила станцию, на которой она сама чуть-чуть не затерялась в толпе, между поездами. А ведь Василёк ещё меньше, чем была она тогда.

— Мама! — закричала Люся и захлебнулась от тревоги. — Потерялся!

Но Василька уже передавала маме на руки какая-то старушка. Пальтишко у него расстегнулось, шапочка сбилась на одно ухо.

— Ишь ты, какой лихой! — сказала старушка.

Люся засмеялась: у Василька и в самом деле был лихой вид.

— Ты уж, мама, держи его покрепче, — сказала она, — а то затопчут. Тётеньки, пропустите нас! Разве не видите — мы с ребёнком!

Женщины расступились, и мама с Люсей и Васильком вошли в трамвай.

Василёк пристроился на скамейке и, стоя на колёнках, смотрел в окошко. Люся села бочком, заслонив его калошки, чтобы он не измазал чужого пальто, и стала тихонько называть ему всё, что мелькало за окном:

— Это троллейбус, автобус, аварийная машина. Понимаешь? Аварийная машина.

Василёк молчал и, только когда трамвай обогнал человека с собакой, сказал громко, на весь вагон: «Бабака!»

— Детки у вас какие хорошие, дружные, — сказал кто-то из соседей.

Мама улыбнулась и кивнула головой.

Как только приехали домой, мама ушла в булочную за хлебом.

— Посмотри за малышом, Люсенька. Я скоро вернусь.

Люся сама сняла с Василька пальтишко, платок, шапочку, причесала его, а потом взяла за руку и стала водить по комнате.

— Вот тут мы обедаем. А это — письменный стол. Понимаешь? А в этом ящике — игрушки. Мы их потом посмотрим. А здесь ты будешь спать. Хорошая кровать, мягкая — хочешь попробовать полежать?

Она сняла с Василька башмачки, с трудом подняла его и уложила.

Но Василёк сразу же встал на ножки, потрогал гвоздик в стене и посмотрел на карточку, которая висела над кроватью.

— Это наш папа, — сказала Люся.

— Папа, — повторил Василёк.

1947





### СОЛДАТСКИЙ НОЖИК

Когда война кончилась, мы стали ждать папу домой. Ждали, ждали и уж совсем перестали ждать. А тут он и приехал. Вошёл, сказал: «Ну, вот и я!» — и поставил свой вещевой мешок на стул.

Смотрю я на папу. Глаза как будто похожи... И смеётся, как папа. Он. Действительно он. Мой папа! Только ростом мой папа будто пониже стал... или это я вырос?

Целый день я ходил за папой, смотрел на него, вещи его трогал. А если переставал ходить, так папа мне говорил: «Куда ты, Костя, пропал?»

Вижу, папа тоже косится на меня. Смотрит, смотрит и всё постепенно мне отдаёт. Даже и такое, знаете, наотдавал, что до сих пор понять не могу, как ему в самом деле было не жалко: утром планшет свой отдал, пулю, которую у него из плеча вынули, отдал, потом погоны свои сержантские и другие — немецкие, трофейные — тоже отдал. Только

ножичек не отдал. А ножичек до того хороший! Ручка гладкая, костяная, из моржового клыка; два лезвия стальных: большое и маленькое; штопор, отвёртка и шильце узенькое, остренькое. Ну, красота!.. Нравятся мне такие ножички!

Я подумал: «Что ж, подожду до вечера...» И всё в руках этот ножичек держал, даже в карман нечаянно положил. А после чая папа сказал:

— Отдавай-ка ножик и ступай спать.

Что же мне оставалось делать? Я, конечно, отдал и пошёл спать.

Всю ночь мне этот ножичек снился. А утром, когда я ещё спал, повернувшись к стене, чувствую — кто-то шлёпает меня по затылку и говорит:

— Ладно уж, забирай и ножик. Да и вставай заодно — пора!

Я сразу проснулся. Гляжу, лежит на одеяле ножик. Схватил я его, раскрыл, пальцем потрогал: большое лезвие острое, а маленькое — ещё острее!..

Я вскочил и стал надевать ботинки. А папа стоит у двери в своей военной шинели — жаль только, что уже без погон, — и чистит щёткой фуражку.

...Папа. Мой папа. Такой же, как был. Те же морщинки, когда смеётся. Так же вот волосы мокрые левой рукой приглаживает. Вот хорошо, что он вернулся!

Папа подмигнул мне и ушёл. А я оделся и побежал на кухню.

Я немножечко поплевал на ладонь и стал точить о плитку свой ножик. Раз-раз-раз-раз... Но тут мама посмотрела на меня испуганными глазами и говорит:

— Откуда у тебя отцовский нож?

— Папа дал.

— Выпросил-таки, на моё несчастье!.. Ну, что теперь будет?

Я говорю:

— Мама, ну почему несчастье? Почему несчастье? Ну почему?

Повернулся и ушёл из кухни. Думаю: «Возьму-ка я свою линейку и сделаю из неё две узенькие — даже ещё удобнее будет». Открываю ящик стола — нет линейки. В портфеле — тоже нет. На подоконнике — тоже... И тут, смотрю, — пианино. До того дерево блестящее, гладкое, видно, что твёрдое, как лёд. Интересно, возьмёт мой ножик такое дерево или не возьмёт? Попробовать, что ли, маленьким лезвием где-нибудь в самом невидном месте — хотьazole педали?

Я присел на корточки и только-только срезал самую маленькую стружку (дерево, оказывается, очень мягкое), как в комнату вошла мама. Мама сразу всё заметила и говорит тихо:

— Ты бы ещё кому-нибудь нос отрезал!

Я даже немного обиделся:

— Ну уж, нос!

— А что? Надо же тебе ножик обновить.

Я ничего не сказал, только отошёл к подоконнику и стал потихоньку соскабливать с него краску. Мама поглядела на меня, помолчала и спрашивает:

— В школу больше не пойдёшь? Закончил образование?

Я быстро надел пальто и калоши, завернул свой ножичек в носовой платок, взял новую полевую сумку и вышел на улицу.

У нас на углу висят большие электрические часы. Со стороны Петровки они очень точно показывают время, а вот со стороны Каретного — постоянно бегут вперёд на целых пятнадцать минут. Я посмотрел со стороны Петровки: без пяти девять. Что такое? Уж очень поздно. Поглядел с Каретного — и там то же самое. Врут направо и налево.

На всякий случай я прибавил шагу, а потом даже пустился рысью. Так бежал, что троллейбусы и те от меня отставали, а всё равно опоздал. Верно, значит, часы показывали...

Я на цыпочках подошёл к своему классу и посмотрел в стекло. Вижу — все сидят на своих местах и списывают с доски задачку, а Григорий Семёнович шагает вдоль парт и заглядывает в тетради.

— Не спешите! Не спешите! — говорит. — Каждая цифра в своей клеточке. Единица — в своей, ноль — в своей.

Тут он вдруг обернулся и увидел меня. Посмотрел и говорит:

— Это ещё что за единица в клеточке? Извольте полюбоваться — портрет отличника учёбы Кости Соколова за стеклом и в рамке.

Ребята захохотали, а я сразу присел на корточках, чтобы меня не было видно через стекло.

Но Григорий Семёнович потихоньку подошёл к дверям да вдруг как распахнёт их — и все ребята увидели, что я сижу перед дверью на корточках.

Что тут стало в классе — и сказать невозможно! До того все захохотали, что Бобка Козолупов (мы его называли «Лупленный козёл») чуть с парты не свалился.

Только теперь уж и ребятам здорово попало. Григорий Семёнович посмотрел на них очень строго и даже поднял палец. Они, понятно, притихли. А он говорит:

— Соколов, садись-ка на место!

Я подобрал сумку и на цыпочках пошёл к своей парте.

Посидел минутку и не утерпел — хочется мне ребятам ножичек показать. Достаяю его из кармана, отгибаю сначала большое лезвие, потом — маленькое, потом — штопор, отвёртку, шильце и начинаю аккуратно протирать носовым платком. Протёр — и вижу: так и есть! Славка Брыкин разинул рот и глядит на мой ножичек, как будто хочет его проглотить.

«То-то! — думаю. — Чья взяла?»

Тут как раз прозвенел звонок. Григорий Семёнович взял журнал и ушёл из класса. А ребята остались в классе и всё крутятся возле моей парты.

— Вот это ножик! — говорят. — Действительно ножик! Откуда у тебя такой ножик?

— Откуда? Ясное дело — с фронта...

— А острый?

— Спрашиваешь!

Я сейчас же достал карандаш и стал его медленно точить маленьким лезвием. Все смотрят, любуются, хвалят. Ни у кого такого ножика нет!

За переменку я отточил семь карандашей и начал восьмой, да ещё успел отвёрткой два винтика из парты вывинтить и штопором пузырёк с красной тушью раскупорить (Славка Брыкин принёс, чтобы заголовок стенгазеты раскрашивать).

Следующий урок был русский устный. Все читали про Каштанку, а я всё время с ножичком возился. Фамилии на пеналах вырезал: Брыкина сразу вырезал, а Попуригопуло целых пять минут вырезал. Даже места не хватило, поместилось только Попуригоп...

— Костя Соколов, читай дальше! — вдруг говорит Григорий Семёнович.

А я совсем и не знаю, откуда надо читать, и Славка Брыкин тоже не знает. Он на мою работу всё время смотрел.

Григорий Семёнович говорит:

— Что с тобой сегодня, Соколов? Сам не учишься и другим, видно, не даёшь. Вот и заработал четвёрку на двоих.

Ну, мне стало очень не по себе. Папа только что приехал, а я будто нарочно пару схватил. Прямо не знаю, как про это дома сказать.

Сижу, думаю, а ножичек будто сам собой по парте ходит, что-то такое вырезает. Двойку вырезает. Словно мало мне одной в журнале...

Вдруг слышу:

— Соколов, сейчас же отдай мне свой ножик и выйди из класса.

— Григорий Семёнович, — говорю, — да как же так?.. Это я нечаянно! Честное слово, нечаянно!

А Григорий Семёнович и не слушает. Взял у меня из руки папин ножик и говорит:

— Ступай! Ступай!

Я стиснул зубы и губы, чтобы не заплакать, и пошёл к дверям.

После рисования все ребята разошлись, а мне Григорий Семёнович говорит:

— Посиди, Соколов.

Потом приходит и говорит:

— Дай свой дневник, Соколов. За учење — двойка и за поведение — двойка. И как не стыдно! Отец в армии, можно сказать — герой, а сын — лентяй и озорник.

Я говорю:

— Нет, папа уже не в армии. Он вчера вернулся.

Поглядел на меня Григорий Семёнович:

— Вот как! — И берётся за ручку: — Что ж, видно придётся ему письмецо написать.

Я его прошу:

— Григорий Семёнович, я больше не буду. Я так себя хорошо буду вести! Только письма не пишите и ножик мой отдайте. Его мне с самого фронта папа привёз.

Григорий Семёнович молчит и будто не слышит. Написал записку, промакнул, сложил вдвое, вчетверо, сверху надписал: «Товарищу Соколову — лично». И отдаёт записку мне:

— Вот. Отнеси. Передай лично. И ножик тоже отцу отдай.

Я завернул ножичек в носовой платок, положил письмо в карман и пошёл домой.

И вот я иду домой и несу папе записку Григория Семёновича. И до того мне тяжело, будто я восемь кирпичей в кармане тащу... Шёл я, шёл, словно сто вёрст прошёл. Притащился домой. А дома так хорошо, как будто сегодня Первое мая. Стол раздвинут, накрыт. Шинель папина в передней висит — значит, он дома.

Вижу — мама весёлая, добрая, нарядная. «Ну, —



думаю, — отдам записку ей, может, этим дело и кончится». Вытащил записку, подаю. А мама посмотрела и говорит:

— Да это же, Костя, не мне. Здесь написано: «Товарищу Соколову — лично».

— Я и отдам лично. Ты ведь тоже товарищ Соколова, а папу жалко.

Тут как раз папа вышел. Полотенце на плече, в руках бритва и кисточка.

— Что это — почта? — спрашивает. — Кому письмо? Уж не мне ли первое после войны?

Мама молчит. А я говорю:

— Тебе, папа, из нашей школы.

«Всё равно, — думаю, — узнает, так уж пусть поскорее!»

Папа взял письмо, прочёл.

— Да... — говорит.

А мама спрашивает:

— Что? Что такое?

Папа ей письмо протянул, и она прочитала. Оба молчат. Да и мне говорить нечего. Помолчали, помолчали мы все, а потом папа повесил полотенце, развинтил и спрятал в коробочку бритву и говорит каким-то чужим голосом:

— Что ж ты стоишь? Идём.

— Куда?

— В ту комнату.

Я пошёл, а папа — за мной. Чуть переступили порог, папа дверь захлопнул — и на ключ. Я испугался. И мама, видно, тоже испугалась. Стучит тихонько в дверь, спрашивает:

— Коля! Коля! Зачем ты закрыл дверь?

— Подожди. У нас тут такой разговор — без свидетелей.

И вдруг шагнул он ко мне:

— Где ножик?

— Вот.

Папа взял его, держит на ладони, а я думаю: «Лучше бы я никогда этого ножика и не видел, со всеми его шильцами, вильцами и отвёртками. Сколько из-за него неприятностей!»

Папа переложил его с ладони на ладонь и говорит:

— Не думал я на фронте, что мой ножик будет в Москве подоконники скоблить, резать рояли, парты, заборы, ворота...

— Я ворот не резал.

— Просто не успел. Хорошо, что он у тебя всего полдня пробыл. Небось за три дня ты бы весь район изрезал да исцарапал. А ведь у меня он не три дня, а три года был и честно поработал. Сколько я им сучьев и веток подсек для костров, у которых мы грелись в походах...

Когда товарищ мой ранен был, так я этим ножиком сапог ему разрезал, чтобы перевязку наложить...

А больше всего запомнился мне такой случай.

Однажды выполз из-за кустов немецкий лазутчик и оглушил меня сзади ударом приклада. Я свалился в траву, а очнулся в чьей-то пустой избе. Руки у меня за спиной связаны... Лежу. Во рту горько. В голове гул. Слышу: на улице, у самого входа в избе, часовой ходит — щербень у него иод ногами шуршит... Слышу немецкие слова.

«Нет, — думаю, — так зря вам не дамся!» Прислонился головой к стене. Хатка украинская, белёная — от стен свежей извёсткой пахнет. На столе миска стоит, кувшин глиняный для варенца — молоко в печи запекать.

И вдруг вижу: в окно смотрят снаружи два глаза голубых. Низкое оконце. Видно, маленький человек смотрит.

Говорю тихонько:

«Айда ко мне!»

И человек, что снаружи стоял, сразу в окошко влез. Вижу: парень с тебя росточком, только глаза голубые, а головёнка рыжая. Посмотрел я на него и смекнул, что этому человеку можно вполне довериться.

«А ну-ка, — говорю, — хлопчик, пошарь у меня за голенищем».

Ножик был у меня в сапоге. Только русский солдат высокие сапоги носит. Вот он при мне и остался — моё последнее боевое оружие.

Хлопчик разрезал верёвки и убежал. А когда стемнело, я вылез в окно и осторожно пополз вперёд по колючему, скошенному полю.

Долго полз. Вдруг слышу неподалёку русский говорок... Костёр в темноте светится... Значит, дополз.

А через день мы эту самую деревню, в которой хлопчик жил, отбили у немцев.

Сам понимаешь теперь, как дорог мне этот нож, а для тебя я не пожалел — отдал...

Замолчал папа. Я стою, смотрю на него и не знаю, что и сказать. А он мне вдруг:

— Ну, бери свой нож!

Я говорю:

— Правда?

А папа головой кивнул:

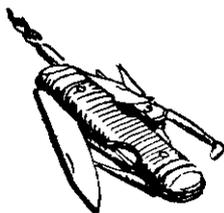
— Правда. Подарков назад не отбирают. А теперь идём обедать.

Вышли мы, а мама смотрит то на папу, то на меня и не понимает, что у нас там было в комнате. Налила она нам по тарелке супу, хлеба отрезала, и сели мы обедать.

И больше про ножик у нас с папой разговоров не было, потому что всё было в порядке.

Ножик чинил карандаши, откупоривал бутылки с чернилами, нарезал бумагу, строгал планки для змея, вырезал из кусочков фанеры самолёты, дома, вытачивал деревянные волчки, срезал мне дудочки из камыша — одним словом, делал своё дело. А я — своё.

1947





## МАЛОЛЕТОК ИВАНОВ

Есть на юге нашей родины большое, но мелководное море. Оно называется Азовское.

Дно у него, как у всех мелководных морей, мягкое, илистое и глинистое. Рыба любит такие моря.

На морском берегу живут рыбаки. Это отважные, сильные люди. Во всякую погоду выходят они в море на своих лодках и не боятся ни волн, ни штормового ветра.

Но и для храбрых приазовских рыбаков тяжело время весеннего и осеннего лова. Ранней весной и поздней осенью в море бушуют штормы — свирепые морские бури; первые заморозки сменяются неожиданными оттепелями; снежные метели — проливными дождями.

И вот что было однажды в рыболовецком приазовском колхозе, который называется «Переправа».

В то ноябрьское утро, когда рыбаки с Переправы вышли на лов, погода стояла ясная, тихая. Но к полудню подул северяк, ударил мороз и затянул море у берега первой коркой льда.

Подёрнулись инеем жухлые осенние травы в степи. Как от огня, почернела и скорёжилась на жгучем ветру последняя ботва в огороде. Побелели, будто кто их мелом обвёл, камышовые крыши хат.

С часу на час мороз крепчал, и всё шире и толще становились забереги у песчаной косы. А рыбаки были далеко в море. Как-то возвратятся они теперь?

Вышли на берег семьи рыбаков — старики, женщины, ребята. Закрывались от холодного ветра, негромко переговаривались:

— Что, не видать покамест?

— Покамест не видать!..

На дощатых мостках, выбегающих в море, стоял, широко расставив большие ноги в тяжёлых сапогах, председатель колхоза Мишур Иван. Насупившись, прислушивался — не шумит ли в море мотор? Полчаса тому назад он сам вызвал с рыболовецкой станции моторный катер на помощь рыбакам.

Мишур хорошо знал, что по такому морю катеру ходу не меньше как полтора часа, а всё-таки прислушивался и ждал.

На чёрном, обточенном водою камне сидели трое из бригады стариков. Старики ничего не говорили, а только поглядывали друг на дружку да покачивали головами.

Они-то хорошо знали, каково сейчас в море рыбаку. Каждому из них казалось, будто сам он сидит на байде<sup>1</sup> под гремлячим от намёрзшего льда парусом.

Медленно идёт байда по тяжёлой, тёмной воде. В глубине течение сильное, морозу не сковать, а сверху всё море дымится от мороза и ветра. Леденеет вода на вёслах рыбаков, леденеет по бортам лодки. Злой ветер срывает с волн кипучую пену и бросает её в лица людям мелким градом колючих льдинок.

Схватилась льдом одежда и резиновая обува. Ноют руки от холода и от тяжести вёсел. Гребёт рыбак из последних сил, а всё будто на месте стоит: держит байду студёное море...

<sup>1</sup> Байда — широкодонная лодка

Возле стариков притулился мальчик лет девяти — Ванюшка Иванов. Он в тяжёлой маминой стёганке и в шапке с болтающимися ушами. Морща от ветра нос и потирая его озябшей рукой, он то и дело говорит:

— А вон, кажись, видать!..

— Где?

— А вон тама!

— Да полно тебе зря людей мутить! Шёл бы домой, на печку. Вертится тут...

Ваня отодвигается подальше от стариков и прячется за чью-то ширококую спину. Так он и пошёл домой!.. Все встречают своих, и он встречает. Покуда Гаврик не вернётся, ни мамка, ни он не уйдут с берега. Вон она там стоит с другими рыбачками у самых мостков, глядит в море, а сюда не смотрит. И хорошо, что не смотрит. А то заметила бы его и тоже, чего доброго, погнала на печку.

Заскрипел под полозьями мёрзлый песок. Это колхозный конюх Петрович со своей рыжей Тюлькой выехал на берег принять у рыбаков снасти.

Петрович — хороший старик. Он никогда не гонит ребят из конюшни, позволяет ездить верхом на водопой и даже учит запрягать.

— Петрович! — кричит Ваня. — Тю-ю-лечка!... — и бежит навстречу дровням.

Тюлька остановилась у самого берега. Дрожа на ветру, она глядит вперёд и топорщит острые уши. В уши дует ветер, наполняя их глухим непрерывным шумом моря...

Тюлька — здешняя, приморская лошадь. Лет семь — восемь назад в летний синий день она первый раз, весело перебирая тонкими жеребьячьими ножками, выбежала на этот самый берег... И вдруг наклонила голову, вытянула, насторожившись, рыжую мордочку. За камышами что-то шумело, шуршало, ахало, и ветер с той стороны был влажный и солёный.

С тех пор Тюлька выросла, стала большой рабо-

чей лошадью и много успела потрудиться, но ничего не видела, кроме моря, берега да Переправы. И, наверно, она думала, что вся земля вот эдакая: гудящая, с влажным солоноватым запахом.

Теперь она стоит на морозе со своими санками. Из ноздрей её клубится белый пар, а большие, добрые глаза спокойно смотрят на серое водяное поле без конца, без края. Ваня взялся за оглоблю и привалился плечом к рыжему, уже поросшему зимней шёрсткой Тюлькиному боку. Вдвоём теплее.

Они долго стояли, не прячась от ветра, и глядели на море. Там было так пусто!.. Лишь изредка взлетала над волной белая птица с чёрной грудкой — мартын.

И вдруг вдалеке мелькнуло что-то белое... Парус или птичье крыло? Байда! Байда!

Люди на берегу засуетились, закричали. Женщины заплакали в голос. Глядя на них, закричали и заплакали дети.

А парус становился всё больше и больше. Всё ближе подходила байда. Вот она уже у самой кромки льда. Стало видно, что на скамейках сидят люди, бурые от ветра, окоченевшие от холода.

Десятки рук сразу протянулись с берега, чтоб ухватиться за обледеневший трос.

— Вылезай, Антоновна! Вылезай, Никитич! Идите грейтесь. А мы уж тут сами...

С трудом волоча тяжёлые, будто не свои, ноги, люди с байды потянулись по новому льду — туда, домой, где нет этого железного, колючего ветра, где теплом пышет жарко натопленная печь.

Вон и Гаврик идёт вместе со всеми. Только его не узнаешь теперь: шерстяной ворот свитера спереди покрылся сосульками и торчит из-под кожанки клочком седой бороды. И брови у Гаврика побелели и ресницы. Он весь согнулся и ступает так тяжело, будто ему не восемнадцать, а восемьдесят восемь лет.

Мамка бросилась к нему:

— Гаврюша! Гаврюша!.. — Она заглядывает ему в лицо, семенит рядом.

— Гаврила-а! — закричал Ваня и побежал вслед за ними. Добежал до поворота и оглянулся.

Люди сгрудились около оставленной байды, что-то делали, а что — издали не видать.

Ваня тихонько отстал от своих, повернулся и опять зашагал к берегу.

Рыбаки уже убрали как следует снасти и вытянули на лёд тяжёлые сети. Рыба в сетях не билась, — лежала, побелевшая от инея, оглушённая морозом. А было её столько, как за весь год не бывало. На каждую ячейку сети — по рыбине. И откуда столько нашло? Руками такую снасть нипочём не унести.

— Петрович, а Петрович! Выручай!

Конюх чмокнул губами: «Но, но, милая!» — и Тюлька послушно пошла по льду.

Люди торопливо нагрузили на дровни сеть, полную рыбы, и заторопились на берег.

На льду остались только конюх и лошадь. Скользя копытами, при каждом шаге вытягивая шею, будто кланяясь, тащила Тюлька тяжёлый груз. И вот, когда она уже совсем близко подошла к земле, чуть ли не к самой прибрежной гальке, раздался во льду хруст.

Лёд порвался. В щелях между льдинами показалась мутная подвижная вода. Всё шире становились тёмные протоки в ледяных трещинах. Всё глуше, всё сильнее шумело море. Оно билось с такой силой, словно хотело нашуметься за всё то время, что стояло скованное подо льдом.

Люди, успевшие добежать до земли, так и замерли на песчаной косе. А треск и скрежет льда становились всё громче.

Лёд крошился, и вот раскололась на две части та большая льдина, на которой только что вместе стояли лошадь, конюх и санки. Меньшая льдина с лошадью сильно накренилась, и тёмная волна, вырвавшись откуда-то снизу, хлестнула Тюльку по ногам.

Вот-вот лошадь соскользнёт в воду и потянет за собой санки с гружёнными на них снастями. А снасти — бесценное добро. Без сетей и рыбаков — не рыбаки и море ему — не море.

Петрович знал это не хуже всех переправских рыбаков. Не говоря ни слова, он выхватил из-за голенища нож и перерезал постромки. Течение сразу отбросило льдину, на которой стояла Тюлька, далеко от конюха и саней.

— Багры! Багры! — закричал не своим голосом Иван Мишур.

Несколько железных крючьев разом вцепились в край льдины, на которой стоял Петрович.

— Есть! Взяли!..

И люди с берега одним дружным рывком вытащили на землю льдину с человеком, санками и сетями.

Лошадь осталась в море одна.

Она стояла, низко-низко опустив большую голову. Её грива и хвост развевались на ветру. Под тяжестью лошади льдина всё глубже опускалась в воду, а течение сталкивало куски плавучего льда. И после каждого удара льдина становилась меньше и меньше.

Рыбаки попробовали закинуть с берега багор и на эту льдину. Но Тюлька испугалась багра, шараясь и едва-едва устояла на льдине.

— Ничего! По воде петлёй протянем, — сказал кто-то.

— Какой протянем! — с досадой ответил Мишур. — Льдом её всю порвёт. Как возможно...

Закинули рыбаки багор в другой раз. Метко кинули. Но лошадь вздрогнула, стала в тревоге переступать копытами, и льдина закачалась под ней, заходила ходуном. Того и гляди, уйдёт на дно.

И вдруг из толпы вышел вперёд какой-то маленький человек и смело шагнул на льдину, качающуюся у самого берега. Потом на другую, на третью... Это был Ваня.

— Эй, ты!.. Куда? Ворочайся, ворочайся! — закричали люди на берегу.

— Я же чичас, — сказал Ваня, присел на льду и широко расставил короткие руки в длинных рукавах маминой стёганки. От малого веса его не тонули острые мелкие льдины. Взрослому ни за что не пробежать бы вот так по кригам — плавучим прибрежным льдам. Криги не выдержали бы его тяжести.

— Ворочайся! Ворочайся! — кричали Ване с берега. — И лошадь пропадёт, и сам себя загубишь.

Но Ваня даже не оглядывался. Он бежал по качающимся, словно живым льдинам, то приседая, то прыгая через тёмные расселины.

Люди на берегу перестали кричать и смотрели на Ваню затаив дыхание. Оступится мальчик, ухнет в эту страшную ледяную воду — и конец. Не выплыть ему в набухшей стёганке, не выбиться из-под льда.

Но Ваня не упал.

Он прыгнул на ближнюю к лошади льдину, потянулся над чёрной полосой воды и схватил Тюлька под уздцы.

И тут Тюлька заржала — заржала радостно, благодарно и успокоенно, точно ей только этого и надо было.

— Ишь ты, понимает! — сказал кто-то на берегу.

Тюлька, видно, и в самом деле понимала. Она тянулась к Ване,гнула свою длинную шею, как будто хотела сказать ему что-то на ухо.

— Ну, ты, не озоруй! Не озоруй! — прикрикнул на неё Ваня таким громким, таким хриплым голосом, словно сам был старый конюх.

Он гладил её озябшей рукой по мягким губам, трепал её рыжую морду, и на этот раз Тюлька не заметила, как острые зубья багров вцепились в льдину под самыми её ногами.

— Есть! Взяли!..

И обе льдины — та, на которой стоял Ваня, и та,

где была Тюлька, — тесно соединясь, причалили к берегу.

— Орёл парень! — сказал Мишур и обнял Ваню. — Одно слово — рыбак!

А к концу путины было вот что. Праздновали окончание осеннего лова. Из города приехали гости в колхоз, и самый главный из гостей, председатель «Рыбаксоюза», говорил с трибуны, кому из рыбаков какую присудили премию.

Ребята толпились в дверях сельсовета, выглядывая через головы друг друга, чтобы ничего не пропустить.

И вдруг, дойдя до буквы «И», председатель сказал:

— «Иванов Иван, малолеток...»

В толпе зашептались:

— Ванюшка, кажись тебя!.. — и пропустили Ваню вперёд.

Ваня, весь красный, прошёл по узкому проходу между стульями и взял обеими руками неожиданный подарок: большой, исписанный золотыми буквами лист — почётную грамоту.

И пока он шёл обратно, опустив голову и не глядя по сторонам, все хлопали.

Никому в тот раз не хлопали так громко, как ему.

1947





## ПОВЕСТЬ О ГАЛИНОЙ МАМЕ

### *Глава первая*

Есть на свете город Куйбышев. Это большой, красивый город. Улицы в нём зелёные, как сады, берега зелёные, как улицы, а дворы зелёные, как берега.

Под высоким берегом течёт Волга. По Волге летом ходят пароходы и причаливают то к тому, то к другому берегу.

Во время войны в городе Куйбышеве жили девочка Галя, Галина мама и Галина бабушка — их всех троих эвакуировали из Ленинграда.

Галина бабушка была ничего себе, хорошая, но мама была ещё лучше. Она была молодая, весёлая и всё понимала. Она так же, как Галя, любила бегать после дождя босиком, и смотреть картинки в старых журналах, и топить печку с открытой дверкой, хотя бабушка говорила, что от этого уходит на улицу всё тепло.

Целую неделю Галина мама работала. Она рисовала на прозрачной бумаге очень красивые кружки, большие и маленькие, и проводила разные линееч-

ки — жирные или тоненькие, как волосок. Это называлось чертить.

По воскресеньям Галя и мама ездили на пароходе на другой берег Волги. Волга была большая. Плыли по ней плоты и лодки, шёл пароход, разгоняя в обе стороны длинные волны. А на берегу лежал волнистый мягкий песок, лез из воды упругий остролистый камыш с бархатными щёточками и летали в тени стрекозы, несли по воздуху свои узкие тельца на плоских, сиявших под солнцем крыльях. Там было так хорошо, как будто совсем нигде нет никакой войны.

Вечером Галя и мама гуляли по набережной.

— Мама, машина! — кричала Галя. — Попроси!..

Галина мама медленно оборачивалась — не сидит ли у калитки бабушка. Если бабушки не было, она поднимала руку. Грузовик останавливался.

— Подвезите нас немножко, пожалуйста, — говорила мама. — Моей девочке так хочется показаться!

Люди на грузовике смеялись. Потом какой-нибудь грузчик или красноармеец, сидящий в кузове, протягивал сверху руку.

Грузовик подпрыгивал на ухабах. Мама и Галя сидели в открытом кузове на мешке с картошкой или на запасном колесе, обе в ситцевых платьяцах, сшитых бабушкой, и держали друг друга за руки.

Галя смеялась. Когда машину подбрасывало, она кричала: «Ой, мама! Ай, мама!»

Ей хотелось, чтобы видел весь двор, вся улица, весь город Куйбышев, как они с мамой катаются на машине.

Машина тряслась на неровном булыжнике мостовой. Их обдавало пылью.

— Спасибо, товарищи, — говорила мама.

Машина вздрагивала и останавливалась.

— Галя, скажи и ты спасибо.

— Спасибо! — кричала Галя, уже стоя на мостовой.

Вверху улыбались красноармейцы.

Один раз, когда Галя с мамой гуляли по улицам города Куйбышева, они увидели, как в трамвай, идущий к вокзалу, садились пятеро молодых красноармейцев в полном снаряжении. Должно быть, они уезжали на фронт.

Красноармейцев провожали колхозницы. Колхозницы плакали и целовали своих сыновей и братьев. Вся улица вокруг них как будто притихла. Люди останавливались и молча покачивали головами. Многие женщины тихонько плакали.

И вот трамвай дрогнул. Нежно звеня, покатил он по улицам города Куйбышева. За ним побежали колхозницы, что-то крича и махая платками.

Галя с мамой стояли на краю тротуара и смотрели им вслед.

— Галя, — вдруг сказала мама, — я не хотела тебе раньше говорить, но, наверно, уже пора сказать: я тоже скоро уйду на фронт.

— Уйдёшь? — спросила Галя, и глаза у неё стали круглые и мокрые. — На фронт? Без меня?

#### *Глава            вторая*

Через неделю Галя и бабушка провожали маму. На вокзале толпились люди.

Бабушка подошла к пожилому военному и сказала:

— Товарищ военный, дочка моя на фронт едет. Единственная. Молоденькая совсем... Будьте уж столь любезны, если вы едете в этом поезде, не дайте её в обиду.

— Напрасно, мамаша, беспокоитесь, — ответил военный. — Какая тут может быть обида!

— Ну, вот и хорошо! — сказала бабушка. — Благодарствуйте!

Стемнело. На вокзале зажглись огни. В их жёлтом свете сиял, как лёд, сырой от дождя перрон.

Поезд тронулся. Бабушка побежала за вагонами. Она кричала: «Дочка моя! Доченька моя дорогая!» —

и хватала на бегу проводницу за рукав, как будто от неё зависело уберечь здоровье и счастье мамы.

А мама стояла в тамбуре за проводницей и говорила:

— Мамочка, не надо. Мамочка, оставь. Мамочка, я ведь не одна, неудобно... не надо, мамочка!

Поезд ушёл в темноту. Галя и бабушка ещё долго стояли на перроне и смотрели на красный убегающий огонёк.

И тут только Галя поняла, что мама уехала, совсем уехала. Без неё. И громко заплакала. Бабушка взяла её за руку и повела домой. Тихо-тихо повела. Бабушка не любила ходить быстро.

### *Глава третья*

А мама в это время всё ехала и ехала.

В вагоне было почти совсем темно. Только где-то под самым потолком светился, мигая, фонарь. И с той стороны вместе со светом шли облака махорочного дыма.

Все скамейки были уже заняты. Мама сидела на своём чемоданчике в коридоре вагона, увозившего её на фронт. И ей виделось, как бабушка бежит за поездом в своём развевающимся платке, и виделось ей круглое личико Гали, её растопыренные руки, пальтишко, перехваченное под мышками тёплым вязаным шарфом, и ножки в маленьких тупоносых калошах... И она шептала, как бабушка: «Дочка моя, доченька моя дорогая!..»

Поезд шёл мимо голых деревьев, шумел колёсами и катил вперёд, всё вперёд — на войну.

### *Глава четвёртая*

Есть на свете суровый, холодный край, называемый Дальним Севером.

Там нет ни лесов, ни полей — есть одна только тундра, вся затянута ледяной корой. Море, которое омывает этот студёный край, называется Баренцевым. Это холодное море, но в нём проходит тёплое

течение Гольфстрим, и от этого море не замерзает. Там стоял во время войны наш Северный флот.

Галина мама получила приказ быть связисткой при штабе флота.

Штаб связи помещался в скале — в самой настоящей серой гранитной скале. Матросы вырубили в ней глубокую пещеру. У входа всегда стоял часовой, а в глубине, под тяжёлым каменным сводом, девушки-связистки днём и ночью принимали и передавали шифровки.

«Вот если бы моя Галя увидела, куда я попала! — иногда думала Галина мама. — Какая тут пещера, какие скалы! Точно в сказке! Когда будет можно, я ей про это напишу».

Но война шла, и писать обо всём этом не полагалось, да маме и некогда было писать длинные письма. То нужно было стоять на вахте, то дежурить на камбузе (так у флотских называется кухня), то ехать по заданию начальника в город Мурманск или на полуостров Рыбачий, где держала оборону морская пехота и где шли в то время самые горячие бои.

#### *Глава            пятая*

И вот однажды Галина мама поехала верхом на лошади отвозить важный пакет в боевую охрану Рыбачьего полуострова.

Вокруг неё было огромное белое поле, пустое и ровное. Только далеко, там, где земля упирается в небо, стояли неровными зубцами горы. Это был хребет Тунтури.

Нигде не росло ни деревца, ни кустарника. Снег и камни лежали на белой равнине. И шёл по равнине колючий ветер, бил в глаза лошадёнке и Галиной маме. И так было пусто кругом! Даже птиц не было видно в синем небе.

Есть на свете такая суровая земля — наша, часть нашей Родины. И за неё на войне проливали кровь.

Лошадь проваливалась в сугробах и уходила в талую воду по самое брюхо.



*Лошадь дёрнулась, кинулась вскачь, хрипя и спотыкаясь.*

С правой стороны в тундру врезался залив. Берег был однообразный: щебень и галька.

— Ну ты, пошла, пошла! — понукала Галина мама свою лошадку.

И вот они выбрались к самому заливу — лошадь со взмокшим брюхом и мама в разбухших от воды сапогах.

Залив был гладкий, как лист глянцевитой бумаги. Высокое, синее, поднималось над ними небо. От синевы щемило в глазах и в сердце — так чист, так спокоен был небесный купол.

И вдруг воздух дрогнул. Откуда-то со стороны Тунтурей прилетела мина. С грохотом брызнули в небо камни и снег.

Лошадь прижала уши, и мама почувствовала, как она дрожит.

— Ну, старушка, родная, гони! — закричала мама и изо всех сил пришпорила лошадь.

Лошадь дёрнулась, кинулась вскачь, хрипя и спотыкаясь. А вокруг них земля дрожала от новых взрывов.

Это немец, который засел на сопках, обстреливал сверху подходы к нашим землянкам, чтобы никто не мог ни подойти, ни подъехать к ним.

Не успела мама отъехать от первой воронки и десяти метров, как что-то словно стукнуло её по плечу. Лошадь всхрапнула, взвилась на дыбы, а потом сразу упала на снег, подогнув передние ноги.

Мама сама не знала, долго ли она пролежала на снегу. Время было весеннее, солнце в тех краях весной и летом не заходит, и она не могла угадать, который теперь час. А часы у неё сломались.

Она очнулась не то от боли в плече, не то от холода, не то просто так. Очнулась и увидела, что лежит на взрытом снегу, рядом со своей убитой лошадью.

Маме очень хотелось пить. Она пожевала снегу, потом потихоньку вынула ногу из стремени, поднялась и пошла вперёд. Рукав её куртки совсем взмок

от крови. Её тошнило. Но мама не возвратилась в штаб и даже ни разу не обернулась, не подумала, что можно возвратиться. Она шла вперёд, всё вперёд, одна в пустынном и белом поле. А вокруг неё тундра так и гудела от взрывов. Мёрзлые комья взлетали до самого неба и, дробясь на куски, валились вниз.

Мама шла очень долго. Она с трудом переставляла ноги и думала только одно: «Ну, ещё десять шагов! Ну, ещё пять! Ну, ещё три!»

Она сама не поверила себе, когда увидела наконец, что беловато-серые зубцы гор совсем близко подступили к ней. Вот уже виден и жёлтый дым наших землянок. Ещё сто раз шагнуть — и она пришла.

— Пришла!.. — сказала мама и упала в снег: ей стало совсем худо.

Минут через сорок бойцы заметили издали на снегу её чёрную шапку-ушанку. Когда маму подняли и понесли в санитарную часть, её раненая рука свесилась с носилок и, словно мёртвая, волоклась за ней по высоким снежным буграм.

В санчасти на маме разрезали куртку и под курткой нашли пакет, который она принесла из штаба.

#### *Глава            шестая*

В Куйбышеве бабушка и Галя получили письмо — не от мамы, а от начальника госпиталя.

Сначала они очень испугались и долго не могли понять, что там написано. Но потом всё-таки поняли, что Галина мама ранена, упала с лошади и чуть не замёрзла в снегу.

— Так я и знала! Так я и знала! — плача, говорила бабушка. — Чужало моё сердце!

— Моя мама ранена, — рассказывала Галя во дворе. — Мы так и знали!

Соседские девочки, которые отправляли подарки бойцам на фронт, сшили для мамы кiset и вышили: «Смело в бой, отважный танкист!» Они не знали, что Галина мама была связисткой.

Кисет с махоркой девочки отдали Галиной бабушке. Бабушка высыпала махорку и положила в кисет носовые платки, гребешок и зеркальце.

И Галя поехала с бабушкой в Москву, где лежала в госпитале мама.

Они остановились у родных, в Большом Каретном переулке, и каждый день ездили на троллейбусе навещать маму. Они возили ей клюквенный кисель в стакане, какао в термосе и варёные яйца.

Бабушка кормила маму с ложечки, потому что мамины больные, отмороженные руки ещё не двигались. А Галя стояла рядом и уговаривала её, как маленькую: «Ну, съешь ещё немножечко! Ну, за меня! Ну, за бабушку!..»

#### *Глава            седьмая*

И вот мама почти совсем поправилась. Её выписали из госпиталя и дали отпуск на месяц. Она опять научилась быстро ходить и громко смеяться, только руки у неё ещё не гнулись, и бабушка причёсывала её и одевала, как раньше одевала и причёсывала Галю.

А Галя возила её через день в госпиталь на электризацию, брала для неё в троллейбусе билет, открывала ей двери, застёгивала на ней шинель. И мама называла её: «Мои руки».

Как-то раз мама получила открытку, на которой красивыми лиловыми буквами было выстукано попечитному:

«Уважаемый товарищ, вам надлежит явиться в наградной отдел, на Скаковую улицу, такого-то числа в три часа дня».

Открытка была послана несколько дней тому назад, но пришла с опозданием. Такое-то число было уже сегодня, а до трёх часов оставалось всего полтора часа.

Мама, Галя и бабушка поскорей оделись и поехали на Скаковую улицу.

Они приехали без десяти три. Галя с трудом от-

тянула тяжёлую дверь, и они с мамой вошли в подъезд. А бабушка не захотела войти.

— Я лучше здесь похожу, — сказала она. — уж очень я волнуюсь.

У вешалки с мамы сняли шинель. А Галя сама сняла свой тулупчик. И тут всем стало видно, что под шинелью у мамы красивая парадная форма офицера Военно-Морского Флота, а под тулупчиком у Гали — матросская блуза, перешитая бабушкой из маминой краснофлотской фланелевки.

— Гляди-ка! Два моряка! — сказала гардеробщица.

Они поднялись по широкой лестнице. Впереди шла мама, осторожно неся свои руки в перевязках, а сзади — Галя.

За дверью сказали: «Прошу!» — и они вошли.

У стола сидел человек. Перед ним лежала белая коробочка. Всё сияло на человеке: золотые погоны, два ряда пуговиц, золотые нашивки на рукавах и много орденов. Галя и мама остановились у входа.

Галя посмотрела на маму. Мама была так красиво причёсана! Над воротом синей блузы виднелся край крахмального воротничка. Из бокового кармана блузы торчал платочек. А в кармане юбки, Галя это знала, лежал подарок куйбышевских ребят — кисет с надписью: «Смело в бой, отважный танкист!» Как жалко, что кисета не было видно!

Мама стояла навытяжку. Рядом в матросской куртке стояла навытяжку Галя.

Человек покашлял и взял коробочку. Он сказал:

— За ваши заслуги в борьбе с захватчиками... — и протянул коробочку.

Но мамины руки лежали в чёрных перевязках. Они были в рубцах и лилово-красных пятнах, похожих на ожоги. Они защищали Родину, эти руки. На них остался багровый след её холодов и вражеского огня. И человек, стоявший против мамы, на минуту задумался. Потом он шагнул вперёд, подошёл прямо к Гале и отдал коробочку ей.

— Возьми, девочка, — сказал он. — Ты можешь гордиться своей мамой!

— А я и горжусь! — ответила Галя.

Но тут мама вдруг отчеканила по-военному:

— Служу Советскому Союзу!

И они обе — мама и Галя — пошли к выходу.

Впереди шла Галя с коробочкой, сзади — мама с руками в перевязках.

Внизу, в подъезде, Галя открыла коробочку. Там был орден Отечественной войны — единственный орден, который передаётся по наследству детям.

У входа их поджидала бабушка. Она увидела мамин орден и громко заплакала. Все прохожие стали на них оглядываться, и мама сказала бабушке:

— Мамочка, не надо! Перестань, мамочка! Я ведь не одна. Таких много... Ну, не плачь, право же неудобно!..

Тут какая-то пожилая женщина, проходившая мимо, заступилась за бабушку.

— Отчего же, — сказала женщина, — конечно, матери очень лестно. И не захочешь, да заплачешь!

Но Галиной бабушке так и не удалось поплакать вволю на улице. Галя тянула её за рукав.

Ей хотелось скорее-скорее рассказать во дворе всем ребятам, как и за что они получили орден.

А так как я тоже живу в Большом Каретном, в том самом доме, в том самом дворе, то и я услышала всю эту историю и записала её слово в слово, от начала до конца — по порядку.

1947

